

АУКАИ АРУЫБАШЕВ



Михаил Арцыбашев

Паша Туманов

I

Перед закрытой желтой дверью приемной полицмейстера, в маленькой грязной передней с давно не крашенным полом, опершись спиной о вешалку, стоял рябой малорослый полицейский солдат в перепачканном пухом и мылом и разорванном под мышкой мундире.

Вид у этого солдата был самый смиренный и глупый, но это не помешало ему изобразить на своей физиономии начальственную строгость, когда в переднюю вошел посторонний.

Этот посторонний, попавший в комнату, куда посторонним вход строго воспрещается иначе как в указанное, от двенадцати до трех часов, время, был юноша в худой гимназической шинели и такой же фуражке. Роста он был среднего, большеголовый, с некрасивым, но довольно симпатичным лицом; на щеках и верхней губе его вполне ясно обозначался неровный пух усов и бороды. Он был красен и, видимо, возбужден.

Вошел он очень быстро, точно за ним кто гнался, и, войдя, сейчас же снял шапку.

— Здесь приемная полицмейстера? — спросил он так громко, как будто давно приготовил этот вопрос в такой именно громкой и решительной форме.

— Здеся, — ответил солдат, с видимым неудовольствием покидая свое занятие и отделяясь от вешалки.

«И чего шлятся, — подумал он, — сказано: от двенадцати до трех, ну и нечего... только народ беспокоят!..»

— Сюда пройти? — так же громко и решительно спросил гимназист, делая движение к запертой двери приемной.

— Сюда. Да только они не принимают, — ответил солдат, загораживая дверь.

— Мне нужно.

— Пожалте от двенадцати до трех, — равнодушно сказал солдат и потянулся рукой к своему носу.

— Мне сейчас нужно.

— Не приказано пущать.

Гимназист как-то весь осел и замялся, обескураженный этим ничтожным и неожиданным препятствием, сбивавшим его с того торжественного, важного и печального пути, который представлялся ему, когда он ехал сюда. Этот равнодушный и неряшливый солдат так не вязался с его представлением, что одну секунду он едва не вышел из передней. Но в дверях остановился, побагровел и выпалил:

— Мне надо заявление: я человека убил!

— Чего-с? — глупо спросил солдат. И гимназист молчал и смотрел на солдата, и солдат, выпучив глаза и глупо ухмыляясь, смотрел на него.

— Пожалте... — наконец сказал солдат, сомнительно качнув головой, толкнул дверь в приемную и посторонился.

Гимназист надел зачем-то фуражку, но сейчас же снял ее и вошел. Солдат тупо поглядел ему в спину.

II

В большой светлой комнате, украшенной портретами лиц царской фамилии, находились в это время четыре человека: сам полицмейстер, видный, представительный мужчина с большими усами и перстнями на пальцах, его помощник, толстый человек с большим животом и багровой физиономией, с трудом ворочающейся на короткой шее без кадыка, и пристав, высокий, худой, чахоточный, на узких плечах которого мундир и шашка висели как на вешалке. Четвертый был господин в вицмундире с форменными пуговицами, с большой рыжей бородой и синими очками на кончике толстого угреватого носа. Он перебирал бумаги на столе у самого окна, стоя и через плечо прислушиваясь к тому, что говорил полицмейстер.

А полицмейстер, сидевший лицом к входной двери, облокотясь обеими руками на стол, покрытый зеленым сукном, рассказывал, смеясь и жестикулируя, как дочь одного часового мастера-еврея, захваченная облавой на проституток, несмотря на уверения отца, что она «еще совсем дитю», оказалась беременной.

— Ха-ха-ха, совсем дитю! — беззаботно смеялся полицмейстер, и его здоровый корпус, туго затянутый в полицейский мундир, колыхался во все стороны.

Помощник, который вообще никогда ничего не чувствовал, кроме своей толщины, страдал от жары и скуки, хотя и улыбался, когда смеялся полицмейстер.

Пристав как палка стоял перед ними и тоже улыбался, хотя ему было тяжело стоять, потому что он был слабый и больной человек. Он смотрел на здорового, сильного, вкусно смеющегося полицмейстера, перед которым должен был стоять, с ненавистью и злобой, не смея, конечно, прервать его никому не нужную, праздную болтовню напоминанием о принесенной им срочной бумаге.

Секретарь же, который терпеть не мог полицмейстера за его грубость и бурбонство, слушал его с наслаждением, потому что сегодня узнал из верных уст, что конец полицмейстерской карьеры близок. Об этом ему говорили в канцелярии губернатора, как о решенном деле, тогда как сам полицмейстер, очевидно, ничего не подозревал.

«Не смеялся бы ты, если б знал!» — злорадно думал секретарь.

Когда вошел гимназист, все сразу повернули к нему головы, и полицмейстер замолчал на половине фразы.

Гимназист как вошел, так и стал посреди комнаты, торопливо вытаскивая что-то из кармана шинели, что цеплялось там и упорно не хотело вылезать на свет.

Пристав счел своим долгом подойти и опросить его, а так как то же думал и секретарь, то они оба разом спросили:

— Что вам угодно?

Но гимназист молчал и растерянно поглядывал то на одного, то на другого, продолжая тащить что-то из кармана. Оттуда посыпались крошки, должно быть, пирожного. Гимназист сопел и краснел, лицо у него сделалось жалкое, беспомощное, шея вспотела.

Пристав, изогнув, как дятел, голову набок, заглянул одним глазом ему в карман и что-то хотел спросить, но в это время гимназист, совсем выверотив карман, вытащил, наконец, маленький блестящий револьвер и подал его почему-то прямо полицмейстеру. Тот невольно протянул руку и взял.

— Я директора убил, — вдруг заявил гимназист жидким, заплетающимся голосом.

— Как-с? — спросил полицмейстер, высоко поднимая брови.

— Кого? — произнес и его толстый помощник, на жирном лице которого появился испуг.

— Директора... Владимира Степановича... — совсем упавшим голосом повторил гимназист.

— Вознесенского? Владимира Степановича? — воскликнул полицмейстер.

— Да, — прошептал гимназист.

Тогда все сразу задвигались, заговорили и засуетились. Полицмейстер начал прицеплять шашку, путая портупю; пристав побежал рысью приказать подать дрожки; помощник ужасался и искал шапку, и все что-то кричали, перебивая друг друга и совершенно позабыв о виновнике происшествия. Уже уходя, полицмейстер вспомнил о нем и обратился к нему негодующим тоном:

— Да вы кто такой?

Гимназист не отвечал. Он, очевидно, не особенно хорошо сознавал, что с ним произошло, и бессмысленно мял фуражку своими потными ладонями.

Пристав подскочил, к нему и прошипел ему почти в ухо:

— Кто такой?

— Павел Туманов... Шестого класса... — машинально ответил гимназист, поворачиваясь прямо к нему, отчего пристав даже немного сконфузился и сделал рукой такое движение, будто почтительно направлял ответ в сторону полицмейстера.

— Надо ехать, — взволнованно проговорил полицмейстер.

— Какое несчастье! Матвей Иванович, — обратился он к помощнику, — вы со мной?

— Да, да, — запыхтел помощник, торопливо берясь за фуражку.

— Виктор Александрович, — почтительно остановил полицмейстера пристав, — а как же с ними? — он кивнул в сторону гимназиста.

— А, да... задержать здесь до моего возвращения.

— А револьверчик?

— А, да... как же, как же, — вещественное доказательство... спрячьте! Да вы со мной поедете, а этого... Андрей Семенович распорядится. Распорядитесь, Андрей Семенович!.. — кинул полицмейстер, исчезая в дверях.

— Хорошо-с, — хмуро ответил секретарь, не двигаясь с места.

Пристав просительно кивнул ему и тоже убежал. Через минуту под окнами прогремели одна за другой две пролетки, уносившие полицейские власти на место преступления.

III

В приемной остались секретарь за своим столом и гимназист, все еще с вывороченным карманом стоявший посреди комнаты. В открытую дверь заглядывали уже прослышавшие о происшествии писцы и городовые, любопытно оглядывая гимназиста.

Секретарь чувствовал себя неловко. Он зачем-то, ступая почти на цыпочках, прошел через комнату, запер дверь, любопытным погрозил пальцем и, возвращаясь на свое место, пробормотал:

— Садитесь... что же вы стоите...

Гимназист машинально отошел к стенке и сел на стул, не переставая мять потными ладонями свою фуражку.

Секретарь тихо уселся на свое место. Ему было жаль мальчика, и ему как-то не верилось, что перед ним — убийца. Он притворился, что не обращает на гимназиста никакого внимания, и усердно стал шуршать бумагой, только изредка с любопытством кидая быстрые взгляды на неподвижно сидевшего преступника.

Паша Туманов сидел под самым окном в неудобной, напряженной позе и не шевелился, крепко сжав губы и сопя носом. Он смотрел в одну точку — на просыпанные им на пол крошки пирожного — и чувствовал мучительное желание их убрать: ему казалось, что они нестерпимо резко видны на желтом, чисто вымытом полу и имеют какое-то отношение к тому, что случилось.

Но ему только казалось, что именно эти крошки возбуждают в нем такое тяжелое желание; на самом деле его мучила потребность убрать куда-нибудь то безобразное и нелепое, что случилось с ним в это утро и острым клином торчало теперь в его жизни, уродуя и коверкая ее. На него нашло какое-то мертвенное оупение. Он даже не мог отдать себе ясного отчета в том, каким образом началось, продолжалось и окончилось «это» и как он очутился здесь и зачем сидит в большой пустой комнате, в присутствии большого, бородатого, в синих очках господина, шелестящего бумагой. Порой ему казалось, что надо встать и уйти, и тогда все это просто кончится и окажется каким-то пустяком, даже веселым и юмористичным... но сейчас же все обрывалось и сбивалось в бестолковую массу каких-то картин, обрывков слов и красных пятен, которые начинали расплываться, расширяться и, наконец, заливали все багровой мутью, где прыгали какие-то знакомые, но ужасные лица...

Тогда Паша Туманов встряхивался где-то внутри себя и на мгновение опять видел большие светлые окна, силуэт бородатой головы и слышал короткий шелест бумаги.

Это было состояние, близкое к бреду.

Среди бесформенного хаоса, расплывчатого, тяжелого, Паша Туманов чувствовал, что видит

что-то, что надо сейчас же сделать: что-то очень важное, имеющее решающее значение, но что именно, он не мог отдать себе отчета, и это начинало мучить его так, что крошки на полу стали казаться пустяком. Он сделал усилие и поймал...

Это оказалось вывороченным карманом шинели.

Паша Туманов положил фуражку возле себя на стул и старательно вправил карман на место, причем рука его нащупала в нем еще несколько кусочков раздавленного пирожка, который ему дали, когда он утром выходил из дому.

И вдруг ему стало чего-то ужасно жалко, и сам он стал в своем представлении маленьким, маленьким.

Паша Туманов заплакал, сначала тихо, а потом все громче и громче.

Секретарь испугался. Он вскочил, уронил перо и, налив в стакан воды из стоявшего на окне графина, поднес ее Паше. Но Паша Туманов не пил и рыдал, захлебываясь и трясясь, как в лихорадке.

— Ну, ну, полно, что вы... пустяки... это ничего... выпейте воды... бормотал испуганный секретарь и вдруг, повинувшись непонятному ему светлому движению души, неожиданно для самого себя, погладил Пашу по голове и пробормотал: — Бедный мальчик!

Паша услышал это жалкое слово, и плач его перешел в истерические рыдания. Ему показалось, что на всем свете нет человека, который пожалел бы его, кроме этого секретаря. И Паша Туманов, уткнувшись головой в жилет секретаря и больно царапая нос о форменную пуговку, зарыдал еще больше.

Секретарь беспомощно оглядывался вокруг.

IV

Накануне этого дня, около двенадцати часов ночи, Паша Туманов лежал на старом диванчике, который служил ему постелью, и, положив под голову помятую подушку, от которой ему было жарко и неудобно, глядел внимательно и напряженно, как лампа мягко и ровно светила со стола из-под толстого зеленого абажура. На столе ярко были освещены книги и тетради, красная ручка резко торчала из чернильницы; ближе к Паше чернел силуэт спинки стула, а возле него все мягко ступшевывалось в зеленоватом полусумраке.

Паша Туманов лежал, тупо и неподвижно уставясь в одну точку, хотя и знал, что каждый час дорог. Он лег с отчаяния, когда убедился, что усилия его в два-три дня пополнить все, упущенное за семь лет, ни к чему не приведут, и теперь не чувствовал силы вновь приняться за долбежку.

Почему так много, неопределенно много было упущено, Паша не знал. Отчасти это случилось по лени, отчасти по обстоятельствам, от Паши не зависящим, а главным образом оттого, что настоящая, действительная жизнь целиком захватывала своими интересами живого Пашу Туманова, а эта жизнь шла далеко в стороне от мертвой, неподвижной гимназии.

Когда Паша окончательно понял истинное положение дела и убедился, что не может обмануть самого себя относительно его безнадежности, им овладело тупое отчаяние, граничащее с апатией. Он отошел от стола, даже не закрыв книги, лег на диван и чувствовал всем существом своим, что он глубоко несчастен. Одновременно с чувством жалости к себе у

него закипало и глухое озлобление против людей, которых он считал виновными в своем несчастье, против директора гимназии и преподавателя латинского языка. Он ошибался: причины его несчастья заключались вовсе не в этих двух чиновниках министерства народного просвещения, не в их относительных достоинствах и недостатках, как преподавателей, людей и чиновников, а в том противоестественном положении вещей, по которому двадцатилетнего юношу, жаждущего смысла и интереса в жизни, заставляли зубрить неинтересные, лишённые жизненного смысла учебники и, наоборот, лишали того, чем он в течение всей юности добивался. Тем не менее Паша Туманов именно директора и учителя Александровича считал причиной того, что он несчастен, а завтра, наверное, будет еще несчастнее.

Чувство озлобления, тяжелого для его доброго и мягкого сердца, все усиливалось и доходило минутами до того безобразного кошмара, в котором человек с мучительным наслаждением, свойственным только больному организму, припоминает какие-нибудь ничтожные подробности — вроде походки, голоса, манеры говорить человека, кажущегося ему врагом, и находит эти подробности до того противными, мерзкими, что мысленно плюет на них, топчет их и издевается над ними.

Паша стал задыхаться в удушливой атмосфере своего озлобления. Ему казалось, что даже огонь лампы упал и стал каким-то тяжелым, зловещим: а шум в ушах превращался то в глухой шепот за стеной, то в уныло доносящуюся откуда-то издалика тягучую песню ненависти и тоски. Паша понимал, что надо стряхнуть с себя это тягостное состояние, но тупая и вялая безнадежность пересиливала его волю, и он продолжал неподвижно лежать и страдать нравственно и физически.

У него заболела голова.

Дверь в комнату тихо и осторожно отворилась: послышался веселый смех и другие резкие и отчетливые живые звуки из третьей комнаты, где сидели сестры Паши и прислуга накрывала на стол, стуча тарелками и бряцая ножами.

Вошла мать Паши, Анна Ивановна, вдова полковника, живущая на пенсию и на какое-то вспомоществование, откуда-то выдаваемое на воспитание детей. Она была заморенная, бессильная женщина, с тихим голосом, большим запасом бесхарактерной доброты и вялым, преждевременно состарившимся лицом. Она тихо прошла по комнате, потрогала лоб Паши теплой мягкой рукой и села возле стола.

— Пойдем ужинать. Устал?

Из того, что она села, позвав его ужинать, и по знакомому ему, немного жалкому и боязливому выражению спрашивающих глаз Паша понял, что ей нужно. Но так как ему было тяжело лгать, а правду сказать он не мог, то Паша промолчал и только кивнул головой на вопрос матери об усталости.

Анна Ивановна сидела у стола, перебирая пальцами листы книги и понутив голову, и грустно думала о том, как дети вообще жестокосердны и неспособны понимать заботы родителей. Ей казалось, что, если бы Паша понял, как она страдает и боится за него, он сейчас же начал бы хорошо учиться и вышел бы в люди.

А Паша смотрел на нее искоса и думал почти то же: что мать его жестока и неспособна понять, как трудно и скучно учиться, и что он, Паша, все-таки прекрасный, добрый мальчик, несмотря на то, что не может выдержать экзамена. Ему хотелось пожаловаться матери на то, как ему тяжело и как злы учителя, которые, по его мнению, одни были виноваты в его несчастье, потому что и они и никто не потерял бы ничего, если бы они поставили ему не единицу, а четыре или хоть три. Но Паша чувствовал, что мать, несмотря на свою доброту, неспособна понять его и не поверит в злобу учителей. А потому и к ней он начинал питать смутное озлобление. Он упорно молчал и смотрел на лампу.

Наконец Анна Ивановна грустно и безнадежно вздохнула и встала.

— Ну, пойдем ужинать.

Но Паша знал, что она так не уйдет и что надо солгать.

— Что же ты, Паша... выдержишь? — с усилием и страхом спросила наконец Анна Ивановна.

Раздражение вспыхнуло в душе Паши до того, что он едва не закричал: «Да оставьте меня в покое! Почему я знаю!..»

Но, увидев большие ласковые глаза с выражением тревоги и любви, вдруг почувствовал такую нежность и жалость к ней, что встал, обнял ее за талию и, краснея в полусумраке, сказал притворно-смелым голосом:

— Вы-держу! Пойдем, мама, ужинать... моя хорошая...

И он прижался к ней с чувством безотчетного умиления.

Анна Ивановна с тревогой, пытливо посмотрела на него, вздохнула и ненадолго успокоилась.

За ужином Паша был возбужден и много смеялся, остря над сестрами; но когда вернулся в свою комнату, разделся и лег, потушив лампу, то сначала тревога, а потом и прежнее озлобление вернулись к нему с удвоенной силой и не давали ему спать. Он смотрел в темноту воспаленными круглыми глазами и чувствовал ненависть ко всему свету и жалость к себе...

Когда он наконец заснул, ему снились деревья, солнечный свет, знакомые лица и много чего-то светлого и радостного.

V

Утром Паша Туманов встал очень рано и сейчас же вспомнил, что надо идти на экзамен. Его обдало холодом, и сердце неприятно и тоскливо сжалось.

Паша долго и порывисто, то торопясь, то без надобности копаясь, оделся, умылся и вышел в столовую, где блестел холодный, только что вымытый пол и на столе, покрытом свежей скатертью с залежавшимися складками, стоял чистый шумящий самовар.

Сестры еще спали, но Анна Ивановна уже сидела за самоваром и улыбнулась Паше робкой и тревожно-вопросительной улыбкой.

Паша тоже улыбнулся, но не мог смотреть матери в глаза и уткнулся в свой стакан.

— Поздно уже, Паша, — сказала Анна Ивановна.

Паша неприятно поморщился.

— Еще половина девятого, — сказал он.

— Пока дойдешь... — коротко ответила мать, ставя чайник на конфорку самовара.

Эти простые и обыкновенные слова, которые Паша слышал каждый день, теперь раздражали его.

— Поспею, — грубо сказал он, — дайте хоть чаю напиться!

Анна Ивановна робко и огорченно на него посмотрела.

— Пей, пей... я так... — виновато сказала она.

Паше было больно, что он огорчил грубым тоном мать, и хотелось извиниться, но, уступая давлению усиливающейся тревоги, он не извинился, а, напротив, насупился и, приняв обиженный вид, встал, взял ранец, вынул оттуда нужную ему книгу и надел фуражку.

Анна Ивановна смотрела на него из-за самовара, ожидая, что он подойдет, как всегда, за поцелуем и крестом, которым она осеняла сына, куда бы он ни шел. Паша видел это, но чувство озлобления толкало его, и он вышел из комнаты, не подойдя к матери.

Паша Туманов быстро шел по улицам, по которым гремели ломовики, с чувством тяжести и от страха экзамена и от жалости к матери, которую обидел. Чем ближе он подходил к гимназии, тем больше замедлял шаги, и наконец остановился на мосту и долго смотрел, ничего не понимая, как какой-то старичок в помятой дворянской фуражке, засучив панталоны, стоял по колени в воде и удил рыбу. Пара сапог с рыжими голенищами торчала на гладком прибрежном песке рядом с коробочкой из-под ваксы для червяков и ведерком для рыбы.

Солнце светило ярко, тепло и весело.

Старичок заметил Пашу и несколько раз взглянул на него, улыбаясь, как старому знакомому. Наконец он тронул фуражку и спросил:

— На экзамен идете?

Паша Туманов сделал над собой усилие, чтобы понять, о чем его спрашивают, и ответил не скоро:

— На экзамен.

Старичок кивнул головой.

— По латинскому языку? Знаю... У меня сынишка... может, знаете, Василий Костров, Васька... тоже на экзамен сегодня.

Паша Туманов приподнял шапку и пошел дальше. Старичок пошевелил неодобрительно губами и потащил из воды серебристую плотичку. Потом посмотрел, прищурясь, на солнце и опять закинул удочку. Пойманная рыбка билась в ведерке и разбрызгивала на песок блестящие капельки воды.

Паша Туманов шел и думал, что Костров, Васька Костров, наверное, тоже не выдержит экзамена. Кострова он знал: это был высокий худой юноша, всегда плохо одетый, плохо учившийся и вместе со своим приятелем, Анатолием Дахневским, юрким полячком, постоянно проводивший время в бильярдных, тайком от начальства. Оба они играли мастерски и одевались да и кормились почти исключительно бильярдной игрой.

Паша Туманов подумал, что и Дахневский, наверное, не выдержит экзамена, и ему стало веселее.

Придя в гимназию, он прошел по чисто подметенному широкому коридору в шестой класс и сейчас же отыскал глазами Кострова и Дахневского, которые сидели на подоконнике и разговаривали. Паша подошел к ним.

— Я ему двадцать очков дам, — спокойно говорил Костров своим глухим баском.

Увидев Пашу Туманова, он подал ему руку и весело спросил:

— Бойтесь? — и добродушно засмеялся.

Но Паше не стало весело. Ему, против ожидания, показался даже противен Костров со своим бесшабашно равнодушным отношением к собственной участи и вечными разговорами о бильярдной игре.

Он не выдержал и спросил почему-то не Кострова, а Дахневского:

— А вы бойтесь?

Тот посмотрел на него с рассеянным удивлением.

— Нет... что же... — неопределенно ответил он и снова обратился к Кострову:

— Видишь ли, у Маслова удар, может быть, и хуже, чем у тебя, да у него терпение дьявольское, он измором возьмет... Двадцати ты ему не дашь!..

— Нет, дам! — уверенно возразил Васька Костров, глядя через Дахневского на Пашу Туманова и чему-то ухмыляясь. Улыбка у него была добрая и немного насмешливая.

— Вы не бойтесь, — сказал он вдруг, — не выдержим, так не выдержим, беда невелика!..

Дахневский внимательно поглядел на Пашу.

— Охота придавать такое значение! — презрительно пожал он плечами.

Но Васька Костров отодвинул его рукой и сказал:

— Оставь... у всякого свои обстоятельства.

Прибежал надзиратель, робкий, торопливый человек, с седенькой подстриженной бороденкой, добрым и ничтожным лицом. Он быстро всунулся в двери, крикнул: «Господа, на экзамен!..» — и исчез, торопливо помахивая рукой.

— Ну-с, «господа», — улыбнулся Васька Костров, вставая и потягиваясь, пойдём.

Все толпой вывалили в коридор и пошли на другой конец его, к актовому залу, где происходили экзамены.

Опять гнетущее чувство страха захватило Пашу Туманова с такой силой, что колени у него стали дрожать. Без всякой надобности он остановился у столика с водой и стал пить воду, показавшуюся ему удивительно невкусной.

— Скорее, скорее, господа! — подгонял гимназистов внезапно появившийся надзиратель, укоризненно качая головой и торопливо потирая худые пальцы.

В это время из дверей на другом конце коридора показались фигуры экзаменаторов, вышедших из учительской комнаты. На фоне освещенного окна и блестящего пола они появлялись одними темными силуэтами с болтающимися фалдами вицмундиров. Паша Туманов едва успел войти в зал и занять первое попавшееся на глаза свободное место, как они уже вошли, один за другим, и стали размещаться вокруг большого стола, покрытого красным, с золотой бахромой и кистями, сукном.

Начался экзамен.

Это был обыкновенный экзамен средне-учебного заведения, — обычай, которого никак не могут совершенно оставить даже люди, признающие его бессмысленность. Педагоги, великолепно знавшие относительные знания и способности своих учеников, вызывали их к столу, задавали наудачу, согласно взятому на счастье билету, несколько пустячных вопросов и притворялись, что ставят отметки именно по тому, как отвечают ученики, а не по давно сложившемуся у них мнению о том или другом ученике, которое было известно не только одному из них, но и всему педагогическому совету.

Пока вызывали других, по одному, то с начала, то с конца алфавита, Паша Туманов, напряженно и неудобно усевшись, тупо смотрел на учителей. По временам ему казалось, что необходимо еще что-то прочесть, просмотреть слабое место; но когда он судорожно переворачивал книгу и отыскивал то место, ему бросались в глаза тысячи строк, казавшихся совершенно неизвестными, забытыми, и Паша бессильно бросал книгу, обливаясь холодным потом, а через секунду опять искал какое-то местечко.

Наконец вызвали с конца Ухина, а с начала Кострова.

— Василий Костров, — довольно тихо прочел директор.

— Костров Василий, — громко, с расстановкой повторил преподаватель.

Откуда-то из-за спины Паши Туманова выдвинулась фигура Васьки Кострова, и он прошел к столу.

Паша Туманов вздрогнул, встрепенулся и замер, облившись потом. Следующим должен был быть он.

Павел Туманов, сказал голос директора. Туманов Павел, так же громко повторил преподаватель.

Паша Туманов машинально встал, уронил книгу, хотел поднять, запутался и, не подняв книги, деревянными шагами пошел к столу. По дороге он столкнулся с возвращавшимся на свое место Васькой Костровым. Тот был красен, но, ничуть не смущаясь, глядел Паше в лицо и улыбался. Он провалился с треском.

Потом был период в несколько минут, когда Пашу Туманова что-то спрашивали, а он что-то отвечал и чувствовал, что отвечает чепуху, и даже хуже, чем мог бы; но он уже махнул рукой, чувствовал себя точно в безвоздушном пространстве и валил что попало, стараясь только остановить дрожащие коленки. Только под конец мысли у него немного прояснились, и на вопрос об обороте речи он совершенно правильно ответил:

— Ablativus absolutus.

— И это все, что вы знаете, — холодно произнес преподаватель и тут же, на глазах Паши Туманова, поставил ему единицу.

Все упало внутри Паши, и он едва не крикнул: «Не надо!»

Преподаватель вопросительно посмотрел на директора; директор махнул рукой, серьезно взглянул поверх синих очков в лицо Паше Туманову и чуть-чуть качнул головой.

— Можете идти, — сказал преподаватель и, не глядя на Пашу, выкликнул: Полонский Митрофан.

Острое чувство страшной злобы сдавило Паше горло. Он машинально повернулся и вышел из зала, стараясь не смотреть на товарищей, провожавших его испуганными взглядами.

В коридоре он встретил Кострова и Дахневского уже в фуражках. Васька Костров его остановил.

— Ну что? — спросил он, ласково глядя на него своими темными глазами.

Паша Туманов хотел ответить, но у него задрожала нижняя челюсть, и он только махнул рукой.

— Тэк-с, — сказал Васька Костров.

Паша Туманов прошел мимо.

— Послушайте, Туманов! — крикнул ему Васька Костров.

Паша остановился.

— Если увидите моего pater'a,[1] - он там у моста рыбу удит, — так скажите ему, что...

Васька Костров не договорил и махнул рукой, копируя Пашу, но придавал этому жесту комический оттенок и засмеялся.

Дахневский засмеялся тоже.

— А вы сами... что же? спросил Паша.

— А мы с горя пойдем на бильярде партийку сыграем, — ответил Васька Костров, улыбаясь, и ушел.

Паша Туманов отыскал фуражку, вспомнил, что оставил в зале книгу, но махнул рукой и вышел на улицу.

VII

Яркий солнечный свет и грохот мостовой, смешанный с живыми голосами и неистовым чириканьем воробьев, ошеломили его и как будто ободрили. Но это был обман: сейчас же безнадежное горе охватило его и сжало с новой силой; он сам себе показался точно неживым, маленьким и ничтожным; сгорбился и пошел в тени под заборами. Ему казалось, что все по его лицу видят, что он провалился.

Он вышел на мост и сейчас же увидал старика Кострова.

Костров сидел на берегу и натягивал за ушки рыжий сапог, высоко подняв ногу и глядя на мост. Он заметил Пашу и весело кивнул ему головой.

Паша Туманов остановился и, глядя вниз, злорадно произнес, точно вымещая на нем свое горе:

— Вася провалился.

Старик быстро опустил ногу на песок, подумал и вдруг залился дребезжащим смехом, скривившим его большой беззубый рот. Паша Туманов глядел на него с удивлением.

— Вот, говорил же ему, — с веселой досадой сказал Костров, — говорил: провалишься ты со своим бильярдом!.. Так провалился? — с любопытством переспросил он.

— Провалился, — подтвердил Паша и зачем-то сошел с моста на берег. Заглянул в ведро; там бились пять плотичек и бойкий красноперый окуnek.

— Мало клюет, — пояснил Костров. — И с треском провалился?

— С треском.

— Ну вот... — утвердительно проговорил Костров. Он обвернул ногу портянкой, заворотил штанину и стал надевать другой сапог.

— Ну, а вы? — спросил он. Паша густо покраснел.

— Тоже? Гм...

Костров встал, взял ведро, поднял удочку и сказал:

— Пойдемте... Вам куда?

Паше надо было идти прямо, но он почему-то не мог отстать от Кострова. Ему было легче в присутствии этого взрослого человека, так легко и просто относившегося к такому важному делу, которое сердило, волновало и мучило всех других людей. Поэтому Паша Туманов ответил:

— Я с вами пройду.

— Идем, — согласился Костров, снял шапку, поглядел вдоль реки, рябившей золотом на солнце, погладил лысину, опять надел шапку и повторил:

— Ну идемте...

Они пошли вдоль реки по мелкому влажному песку, по которому валялись мелкие круглячки и осколки ракушек, спутанных свежими и засохшими водорослями. По временам попадались старые лодки, грузно насевшие на берег своими черными кормами. Сверху по реке валил пароход, и дым его, белоснежно-белый на солнце, только чуть-чуть отклонялся в сторону. Было тихо, светло и тепло. Волны, мелкие и прозрачные, тихо всползали на смытый песок и слабо всплескивали. В ведре Кострова изредка плескалась пойманная рыбка.

Паша Туманов смотрел на реку и чувствовал, что все это лишено жизни и очень тесно, а свет солнца казался ему тусклым и тяжелым. Костров находил иначе: он сладко прищуренными глазами вглядывался вверх по реке, иногда прикладывая ладонь щитком над глазами, следил за пароходом, сбрасывал ногою мелкие камешки в воду и, блаженно улыбаясь, наблюдал, как дробится алмазная струйка, разбегающаяся по отмели. Вздыхал он легко и привольно и наконец проговорил:

— Благодать!

Паша промолчал. Костров поглядел на него с сожалением.

— Хорошо, говорю! — повторил он. — Ишь, ласточки-то как... ишь, ишь!.. А вы чего такой хмурый?

Пашу Туманова взяло зло: ему показалось, что старик дразнит его, а сам все отлично понимает. Он опять промолчал.

Костров вздохнул и широко улыбнулся.

— Это что «экзамен» свой не выдержали? Плюньте-ка на это дело!

Паша Туманов посмотрел на него со злостью.

— Что же вы сердитесь? — добродушно спросил Костров.

— Я не сержусь, — пробормотал Паша.

— Нет? А мне показалось, что вы обиделись... А что я говорю — плюньте, так это я верно говорю. Ну не выдержали вы экзамена... Васька мой тоже не выдержал? Ну да... А ведь он, наверное, и в ус не дует. Вы его видели?

— Он пошел на бильярде играть, — сказал Паша. Костров точно обрадовался.

— Ну вот... А чего? Оттого, что ему — наплевать!

— Как же на это можно наплевать? — возразил Паша, глядя себе под ноги.

— А что? Оно, конечно, получить свидетельство там, на место поступить... это хорошо... А только не в этом сила...

— А в чем?

— Вы думаете, мой Васька гимназии не мог бы кончить? Дудки-с! Не одну эту паршивую гимназию вашу, а сто таких гимназий кончил бы, если бы захотел... И вы бы кончили. У меня есть приятель один... маленький человечек, как и я сам, да еще и кривенький... Так он мне рассказывал мы с ним рыбу удим вместе часто — про эту вашу гимназию и университет этот... Взвинтов его фамилия. Так вот этот Взвинтов — он репетиторствует — и говорит, что самые естественные болваны лучше всех и учатся... так уж это дело, видно, поставлено! Да я все по себе знаю: я ведь тоже учился и вылетел... Много ли ума нужно, чтобы латинские спряжения да геометрию с историей вызубрить? Сиди да зубри... сиди да зубри только и всего. И не нужно это никому, а так только, чтобы местечко похлебнее потом добыть. Так ведь это как кому: иному ничего, кроме местечка, не нужно, ну тот и зубрит, и старается... а иному вот эта река там, да воздух, — тому какое зубрение? Тот и не зубрит. А разве хуже он оттого, что ради теплого местечка не старается? Так-то... да.

Костров прищурился, поглядел по реке и остановился.

— Ну вот мы и расстанемся... мне сюда в переулочек.

Паша Туманов молча протянул ему руку.

— Да, молодой человек, напрасно вы так... Ну провалились... оно, конечно, неприятно, но ни хуже вы от этого не стали, ни лучше... такой, как были, таким и остались. Право!.. Так-то. Ваське бильярд, мне река да рыбка, вам... еще там что-нибудь. Мы зубрить не можем, а все-таки мы люди ничуть не хуже других и такие же дети Создателя нашего. Каждому свое... Ну, до свидания... Ласточки-то, ласточки... ишь!..

Костров засмеялся, приподнял картуз и поплелся вверх по берегу, между полуразвалившимися заборами слободки, к маленьким деревянным домишкам, грязно и бестолково рассыпанным по берегу.

Паша Туманов остался один.

Он долго смотрел на воду и думал о том, что сказал Костров, и хотя не мог понять его слов в том глубоком смысле, который вкладывал в свои спутанные речи старый рыболов, но ему все-таки стало легче. И сейчас же свод неба раздвинулся, вода стала прозрачнее и плескала

звучнее, струйки весело зазвенели и заговорили на гладком песке, солнце стало ярче и теплее, и слышалось много новых звуков, живых и смелых, которые он до этого не замечал.

Послышались голоса рабочих с барок, звучно перекликавшихся и переругивавшихся незлобно и весело; засвистал бойко и беззаботно парходик; волна набежала на берег и отхлынула, радостно захлебнувшись; ласточки зачивикали, плавая в море воздуха, света и голубого простора.

Паша Туманов смотрел на все широко открытыми глазами и не верил сам себе: неужели он, на самом деле, мог так огорчиться из-за единицы? Ну не выдержал... что ж из этого? Ведь он все такой же Паша Туманов, как и был: так же видит, так же слышит и чувствует... так же любит мать и сестер и... хоть и ненавидит директора того, как его... но черт с ним! Стоят они того, чтобы здоровый, веселый Паша Туманов мучился?

VIII

Но такое настроение продолжалось недолго; оно скоро сменилось чувством неловкости, которую Паша Туманов старался сначала объяснить тем, что все-таки неприятно сказать матери не то, что она ожидает.

Впрочем, это ничего. Он перескажет ей слово в слово то, что говорил Костров... этот славный старик... философ. Расскажет о том, как легко относятся к своему провалу Васька Костров и Дахневский. Какой все симпатичный народ! Надо с ними подружиться...

Но чем ближе подходил Паша Туманов к дому, тем он чувствовал себя тревожнее и тяжелее. А когда он вошел во двор, то сердце его опять упало и колени задрожали, как на экзамене.

Сестры сидели в палисаднике. Старшая, Зина, варила варенье, а младшая, Лидочка, читала книгу и жевала длинный хвостик морковки.

— Пашка пришел! — сказала она, увидев брата, и сейчас же бросила книгу и подошла к нему с любопытством в веселых, смеющихся глазах.

Зина подошла тоже, держа в руке ложку с вареньем.

У обеих были добрые, веселые лица, но Паша знал, что они должны стать злыми и хмурыми, когда узнают правду.

— Что так скоро? Выдержал? — наперебой спрашивали сестры.

Все, что говорил Костров, бессильно мелькнуло в Пашиной голове, и он невольно, неожиданно для самого себя, выпалил:

— Выдержал... Где мама?

— Молодец, на тебе ложку варенья за это! — сказала Зина.

Лидочка запрыгала на месте и захлопала в ладоши.

Паша Туманов, притворяясь веселым и радостно возбужденным, облизал ложку, но совсем не заметил, какое в ней было варенье.

— Где мама? — повторил он.

— В церковь ушла... сейчас придет, уже отзвонили, — сказала Лидочка.

— Что тебе попало?

— Так... пустяки. Я пойду отнесу книгу, — сказал Паша, забывая, что книги с ним нет.

— Да ты от радости обалдел! — сказала Зина, смеясь.

Паша покраснел и смутился.

— Тьфу! Забыл книгу. Ну пойду умоюсь... устал.

— Семиклассник! — шуточно прокричала Лидочка ему вслед.

Паша тоскливо улыбнулся и поторопился уйти.

Теперь он уже понимал, что нечего и думать сказать матери то, что говорил Костров. Он сам удивился, какими глупыми показались ему его мысли на берегу. Костров — старый пьяница-нищий в рыжих сапогах, два бильярдных завсегдатая, его сын и Дахневский... Паша теперь не мог даже себе представить, как это он обратил внимание на глупости какого-то пьяницы.

Разумеется, этот сброд ничего не потеряет от того, что не будет у него диплома; другое дело Паша Туманов!

В комнате Паши было темно и грязно; кровать валялась неприбранная; книги были разбросаны по полу и выглядели как-то жалко и печально. Паша стоял посреди комнаты и думал о том безвыходном положении, в которое запутала его ложь сестрам, и о том, что не стоит жить.

В голове его мелькали планы один фантастичнее другого и разбивались вдребезги, бесследно исчезали, доходя до одного пункта: мысли о матери. Паша Туманов мало-помалу примирялся со всеми неприятностями от невыдержанного экзамена, но мысль о том, как он скажет матери и увидит на ее лице выражение ему знакомого бессильного отчаяния и укора, наполняла его душу ужасом и холодом. Паша не понимал, что счастье его не в дипломе, а в искреннем общении с самым близким для него человеком в мире — с матерью, в том, чтобы любить ее и заботиться о том, чтобы она была счастлива, имея здорового и счастливого сына. Не понимал он этого потому, что и все вокруг не понимали этого, а думали, что счастье и прямые обязанности человека заключаются не в том, чтобы быть хорошим и свободным человеком, а в том, чтобы получить диплом и с ним право получать больше денег. А так как мать Паши думала так же, как и все, то, вместо того чтобы утешить дорогого ей, любимого сына, она должна была плакать и мучить его больше всех. И Паша Туманов, готовый перенести насмешки и выговоры от всех, при одной мысли о слезах и упреках матери падал духом, потому что она была ближе и важнее для него, чем все остальные, вместе взятые.

И отсюда у него явилась мысль, что жить нельзя.

Если бы Паша Туманов обладал сильным характером, то он сейчас же убил бы себя. Но он боялся не только смерти, но и всякого решительного конца. А потому, хотя он и знал, что экзамен действительно не выдержан и он, как «второгодник», выгнан из гимназии, но мысль о том, что все бесповоротно кончено, не вязалась у него в голове.

У него мелькнула мысль пойти и упросить директора о переводе его в седьмой класс. Паша Туманов не допускал, чтобы его нельзя было упросить, чтобы у человека, живую человека, которому никто ничего не сделает дурного, если он переведет Пашу, хватило бы бесцельной жестокости, в угоду правилу, форме, не сделать этого и испортить ему жизнь. Паша рассуждал так:

Ну пусть я учился скверно, но ведь в сущности никому, кроме меня самого, мамы, Зины и Лиды, нет никакого дела до того, перешел ли я! А мне и маме, Зине и Лиде это очень, неизмеримо важно! Значит, всякий мало-мальски не злой человек должен понять и перевести меня.

Паше показалось это вполне ясно и правильно. Он решил идти к директору сейчас же, пока не пришла мать.

Паша Туманов сообразил, что если он пройдет мимо сестер, не дождавшись матери, то они сразу угадают правду; поэтому он решил вылезти в окно и перебраться через забор.

Паша выбросил в окно шинель и шапку и осторожно стал отворять его шире, чтобы пролезть самому. В обыкновенное время он отворял это окно смело, со стуком, и никто не обращал на это внимание, но теперь ему казалось, что стоит только скрипнуть, и все сейчас же сбегутся к нему. Пашу бросало в жар и в холод. Для того чтобы вылезти в окно, он потратил минут пять.

Когда он очутился уже на улице, то услышал со двора голос Лидочки:

— Мама, Паша пришел... выдержал! — И почувствовал, что все кончено и возврата нет. Это и оглушило его, и придало решимости. Он тихо, на цыпочках побежал по переулку, пригибая голову, хотя забор был гораздо выше его.

IX

Когда Паша Туманов опять пришел в гимназию, экзамен уже окончился в их классе и начался в другом. Директор был занят. Паша Туманов заглянул сквозь стеклянные двери в зале и увидел тот же красный стол и знакомые фигуры учителей. Преподавателя латинского языка, Александровича, поставившего Паше единицу, там не было. Паша сообразил, что он сидит в учительской комнате, и решил попробовать переговорить раньше с преподавателем.

Он прошел к учительской и с бьющимся сердцем и горящими щеками попросил проходившего учителя чистописания вызвать к нему Александра Ивановича.

— Зачем вам? — спросил надзиратель, но так как ему ровно никакого до этого дела не было, то, не дожидаясь ответа, он широко раскрыл двери учительской и громко позвал:

— Александр Иванович!

Сквозь открытую дверь Паша увидел два больших окна, угол стола и голубые полосы табачного дыма, в котором, как в тумане, двигались чьи-то синеватые силуэты. Из облаков дыма выдвинулась маленькая деревянная фигурка Александровича, с острой бородкой и длинными прямыми волосами. Он подошел к двери и выглянул.

— Вот... к вам, — сказал учитель чистописания и ушел.

Александрович посмотрел на Пашу Туманова холодными оловянными глазками и вышел в коридор.

— Что вам? — спросил он, закладывая руки под фалды мундира.

— Александр Иванович, вы мне поставили единицу, а я на второй год, и... меня исключат...

Паша говорил заикаясь, но притворялся улыбающимся. Александрович смотрел куда-то мимо

него неподвижными, апатичными глазами, а когда Паша кончил, то тягучим тоном, с наслаждением, отбивая слоги и ударения и покачиваясь с носков на каблуки и обратно, заговорил:

— Вы не мальчик и знаете, к чему приводит лень. Вам это должно быть известно еще из прописей. Сколько вы заслужили, столько я и поставил. Совет согласился с моим определением ваших успехов... Надо было учиться!

Александрович взглянул Паше в лицо и повернулся к двери.

— Александр Иванович! — звенящим голосом воскликнул Паша.

— Нет, нет... — решительно ответил Александрович и плотно притворил за собой дверь.

Паша Туманов заскрежетал от злобы. Он с наслаждением бросился бы на учителя, но вместо того нерешительно отошел к окну и тупо уставился на улицу.

К нему подошел надзиратель, тот самый торопливый, напуганный и смиренный человечек, который вел их сегодня на экзамен.

— Вы не выдержали, Туманов? — спросил он.

— Нет, — сдавленным голосом ответил Паша. Надзиратель уныло покачал головой и вздохнул.

— Какая неприятность Анне Ивановне, — сказал он. — Что же вы теперь думаете делать? — спросил он с соболезнованием.

— Буду просить директора, — ответил Паша Туманов, вопросительно глядя на надзирателя.

— Вряд ли... А все-таки попробуйте... Да вот они идут! — прибавил надзиратель шепотом, застегивая вицмундир.

Из дверей экзаменационного зала вышли толпой учителя, и опять на фоне освещенного окна видны были только безличные синеватые силуэты с болтающимися фалдами вицмундиров. Впереди всех шел с журналом в руках директор Владимир Степанович Вознесенский, высокий, плотный человек в синих очках, с большой бородой и прядью волос на лбу.

Он увидел Пашу Туманова и подошел прямо к нему.

— Вы будете исключены, — сказал он, глядя через Пашу.

Он был очень добрый человек, и глаза у него были добрые, но он был большой формалист, а глаза его скрывались за синими очками.

Паша Туманов прекрасно знал, что он будет исключен, но все-таки при этих спокойных словах человека, которого он пришел просить и который говорил об его исключении, как о самом решенном деле, его обдало холодом.

— Владимир Степанович, — произнес он таким звенящим голосом, каким говорил с преподавателем. Директор притворялся, что не слышит.

— Мы дадим вам свидетельство об окончании шести классов, но без права перехода в седьмой... Надо было учиться! — добавил директор.

— Я буду учиться, — как маленький, дрожащими нотками сказал Паша.

— Теперь уже поздно, — спокойно ответил директор, уволивший на своем веку много

мальчиков, — надо было раньше думать о последствиях! Увольнительное свидетельство...

— Владимир Степанович, мама... — замирая, прошептал Паша Туманов.

— ...вы получите в канцелярии, — поморщившись, договорил директор и пошел дальше.

Паша пошел за ним.

Когда он подошел к директору, то думал в трех словах рассказать ему свое безвыходное положение и убедить его. Паша думал, что будет иметь дело с сердцем директора, но доступ к нему был загроможден массой условных понятий о долге и обязанностях педагога и директора. Поэтому слова не выходили из уст Паши, и он только мог прошептать, чувствуя уже на глазах слезы бессилия:

— Вла...димир Степанович...

Директор, доброму сердцу которого все-таки, несмотря на долголетнюю привычку, было больно, но который не допускал и мысли об удовлетворении «незаконной» просьбы мальчика, нашел выход из неприятного положения в том, что притворялся опять, будто не слышит, и поспешил войти в учительскую.

Паша остался в коридоре один, со стиснутыми зубами и полными слез глазами, в которых расплывались силуэты двух вешалок, стоявших по бокам учительской, и подходящего к нему с жалким, соболезнующим лицом надзирателя.

Паша Туманов вдруг весь наполнился страшной злобой и, чтобы избежать разговора с надзирателем, бесплодные соболезнования которого, он чувствовал, только усилили бы злобу и горе, быстро пошел по коридору, схватил шапку и шинель и вышел на улицу с неизвестно в какой момент явившейся, но твердой и вполне определенной идеей мести людям, которые не обращают внимания на его просьбы и слезы.

А директор был расстроен неприятной историей до того, что в первый раз за свою службу посетовал на гимназические правила и ушел к себе на квартиру сильно не в духе.

Х

На углу главной улицы города, где стояло здание гимназии, только на противоположном конце ее, заканчивающемся площадью, находился большой оружейный магазин. На двух высоких с толстыми стеклами окнах были выставлены горки, уставленные ружьями всех систем, а на подоконниках, красиво обитых зеленым сукном, лежали симметрично разложенные пистолеты, револьверы, охотничьи ножи и ящики с патронами. Все эти орудия убийства, продаваемые открыто, были новенькие и аккуратно блестели своими гладкими полированными частями. Тут же постоянно выставлялись чучела зверей и птиц в мертвых, неестественных положениях. Они скалили зубы на проходящих людей, которые останавливались смотреть на их тусклые стеклянные глаза и восхищались искусством тех, кто убил этих животных и потом постарался придать им жизнь, выгнув их спины и оскалив их пожелтевшие мертвые челюсти.

Гимназисты, возвращаясь из гимназии, постоянно толпой останавливались у этих окон и мечтали об оружии и охотах, никогда ими вблизи не виданных, но казавшихся особенно заманчивыми, потому что оружие было изящно и блестело, а звери и птицы красиво изгибались блестящими шкурками и пестрыми перьями.

Паша Туманов тоже подолгу, случалось, простаивал у окон и с чувством неопределенной зависти осматривал ружья и пистолеты. У него была здесь своя заветная легкая двустволка, о которой он давно уже мечтал и для приобретения которой давно копил деньги. Двустволка стоила двадцать пять рублей, а Паша Туманов скопил только двенадцать. Он всегда, подходя к магазину, тревожился об ее участи и успокаивался только тогда, когда двустволка, никем еще не купленная, оказывалась на своем месте.

Паша Туманов направился прямо к магазину и остановился перед окном против облюбованного ружья. И, несмотря на тяжелое настроение духа, он все-таки ощутил радостное чувство, увидев его гладкое, ровное дуло и красивой формы крючковатые курки. Но он сейчас же поймал себя на этом чувстве, и ему стало стыдно, что, решаясь на такое дело, он интересуется двустволкой.

«Все равно... — подумал он, — купить ее не придется...»

Чувство грусти сжало его сердце.

Паша Туманов встряхнулся и, преувеличенно сморщив брови, решительно толкнул дверь и вошел в магазин.

Там были только приказчик и кассирша. Приказчика Паша знал хорошо, потому что часто видел его через окно, когда тот протирал замшей выставленное оружие. Кассиршу же видел в первый раз. Ему стало неловко. Чтобы затушевать эту неловкость, Паша опять-таки преувеличенно развязно подошел к прилавку. Приказчик серьезно и, как показалось Паше Туманову, недоверчиво посмотрел на него поверх очков.

— Что вам угодно? — спросил он.

У Паши мелькнула мысль, что ему, как гимназисту, не продадут оружия, и он побледнел.

— Мне нужен пистолет, — сказал Паша напряженным голосом.

Приказчик молча повернулся к полкам.

Тут у Паши Туманова очень ясно и просто явилось соображение, что, кроме директора, надо убить и учителя латинского языка, а потому лучше купить револьвер, чем пистолет.

«К тому же может выйти осечка, — весьма спокойно и резонно подумал Паша, — и тогда будет очень смешно».

Он вспыхнул, представил себе, что было бы, если бы вышла осечка, и торопливо поправился:

— Или нет, лучше покажите револьвер! Приказчик так же равнодушно оставил ящик с пистолетами и взял другой, с револьверами.

— Вам в какую цену? — спросил он.

— Рублей в десять, — затруднился Паша, никогда не покупавший оружия.

Приказчик подумал и положил на стекло прилавка три или четыре револьвера.

Паша взял один из них и с видом знатока заглянул в дуло. Там была круглая черная дырка, и больше ничего. Паша почему-то вздрогнул и взял другой.

— А они не испорчены? — спросил он.

— Мы продаем только первосортный товар, — равнодушно ответил приказчик.

— А что... это сильно бьет? — с детским любопытством спросил Паша. Ему почему-то хотелось, чтобы приказчик был разговорчивее.

— На шестьдесят шагов пробьет человека насквозь, — равнодушно протянул приказчик.

Паша вздрогнул и смутился. Продавец сказал это совершенно случайно, отвечая на заданный вопрос, но Паше показалось, что все уже знают о его намерении, и потом ему представился человек, насквозь пробитый пулей.

Если бы приказчик обратил внимание на Пашино лицо, то заметил бы, что дело неладно; но он был старый, привычный торговец оружием; ему не раз, продав револьвер, на другой день приходилось читать в газетах о самоубийствах и самых зверских убийствах; он давно привык к этому, привык расхваливать смертоносные качества своего товара и, продавая новый револьвер, думал не о тех неудачниках и злодеях, которые кончали с собой или другими купленным у него оружием, а о том проценте, который получал он с каждой проданной дорожке стоимости вещи. Он был очень добрый и нежный человек, превосходный семьянин, любящий своих детей и жену, и потому-то ему и был важен проданный револьвер, а не покупатели. На волнение Паши Туманова он не обратил ни малейшего внимания.

— Я возьму этот, — вздрагивающими губами сказал Паша Туманов.

Приказчик поклонился, забрал остальные и положил их в ящик.

— Прикажете завернуть? — спросил он.

— Да... нет, — смешался Паша.

— Как вам угодно. Патронов прикажете?

— Да, да... как же... — вспомнил Паша. — Непременно.

— Прикажете зарядить или возьмете коробку?

— Лучше зарядите, — сказал Паша Туманов, вспоминая что и заряжать он не умеет.

Приказчик взял револьвер, высыпал на стекло из коробки хорошенькие желтые патроны и зарядил, ловко щелкая затвором. Подавая револьвер Паше, он спросил:

— Больше ничего не прикажете? Паша покачал отрицательно головой.

— Десять рублей двенадцать копеек, — сказал приказчик, указывая на кассу.

Паша Туманов положил револьвер в карман шинели и подошел к кассе.

Молоденькая, с бескровным лицом кассирша взяла от него деньги, дала ему тридцать восемь копеек сдачи и внимательно поглядела ему вслед.

Она была еще очень молода и потому сердечнее и наблюдательнее приказчика. Когда Паша Туманов ушел, она сказала:

— Какое странное лицо у этого гимназиста. Еще застрелится.

— Кто их знает, — равнодушно ответил приказчик. — Который час, Марья Александровна?..

— Первый, — ответила кассирша, взглянув на свои маленькие часики, вынутые из-за корсажа.

— Боюсь я, — заговорил приказчик, — за Колю; что-то похожее на скарлатину у него... Хоть

бы уж скорее три часа... пойти взглянуть. Проклятая должность: сын умрет, а ты и не узнаешь!..

Он ушел за прилавок и принялся собирать разбросанные для Паши вещи.

— Зачем им продавать оружие, — заметила кассирша, думая все о Паше, еще наделает бед мальчик... какое у него лицо. Не надо бы таким бы продавать.

— Таких правил нет, — сухо сказал приказчик, думая о больном сынишке.

XI

— Где директор? — спросил Паша Туманов, входя в прихожую гимназии.

— На квартире у себя. Сейчас с экзамена пришли. Должно, в кабинете, позевывая, ответил старый рябой сторож из отставных солдат.

— Пойди, Иваныч, доложи, — попросил Паша.

— Да они заняты, должно, — неохотно заметил солдат.

— Ничего... мне нужно очень...

— Не знаю... Да вы бы надзирателя поспрашали.

Паша Туманов испугался.

— Нет... я по секрету... попросить...

— Не выдержамши? — спросил солдат, которому такие просьбы приходилось слышать не раз.

— Ну да...

— Я что ж, я доложу, — сказал солдат и, тяжело ступая, пошел в директорскую квартиру.

Паша Туманов остался в прихожей. Он весь замирал и трепетал от страха; но о револьвере он как-то сразу забыл и только хотел попросить директора и боялся отказа.

Солдат вернулся.

— Пожалте в кабинет, — сказал он.

Паша снял шапку и калоши и вошел в темную переднюю директорской квартиры, откуда дверь вела в кабинет директора. Паша прекрасно знал и эту комнату, и кабинет, небогато обставленный, с двумя большими окнами на улицу и с большим письменным столом, на котором стояло бронзовое пресс-папье, изображающее дикого кабана, и лежали какие-то бумаги в синих обложках, с наклеенными на них белыми ярлыками.

Владимир Степанович Вознесенский сидел боком к столу, спиной к двери и, согнув голову набок, писал что-то знакомым Паше крупным разгонистым почерком. Возле него на краю стола лежала и дымилась папироса.

При входе Паши Владимир Степанович обернулся через плечо и нахмурился. Ему было жаль

мальчика, и в то же время он не мог понять, как это Паша Туманов не видит того, что так ясно для него: невозможности, вопреки закону, перевести его в следующий класс. И хотя он был добр, но сейчас же сделался злым и сухим, потому что думал, что Паша Туманов надоедливый лентяй, который мог бы учиться, если бы хотел. Так думали все, и директор думал, как все: он был самым обыкновенным, с ходячими понятиями, человеком.

— Что вы мне хотите сказать? — резко спросил он, не глядя на Пашу.

Владимир Степанович, переведите меня... — попросил Паша Туманов.

— Не могу, — пожал плечами директор.

— Я буду учиться, Владимир Степанович, — уныло проговорил Паша.

«Если я заплачу, то это будет даже хорошо», — подумал он, чувствуя, что слезы подступают к горлу. Но тем не менее он из всех сил старался не заплакать.

— Ах, Боже мой! — сказал директор, искренно страдая, но делая суровое и скучающее лицо.

— Владимир Степанович, если я не кончу гимназии, мне нельзя будет в университет.

— Само собой разумеется, — невольно усмехнулся директор.

«Совсем не то говорю», — мелькнуло в голове Паши.

Директор взял папиросу, пыхнул ею два раза, затянулся, приподнял брови и, аккуратно укладывая ее на край стола, заговорил решительно и резко:

— Послушайте, Туманов, я очень хорошо знаю, что положение ваше, а тем более ваших родителей, становится очень неприятным, если вы будете исключены... Я лично ничего не имею против вас, как не имеют и все господа учителя, но у вас есть свои обязанности, а у нас свои: вы были обязаны учиться... вы этого не делали, ну, и за это исключаетесь из гимназии. Исключаетесь не нами, потому что мы только исполнители, чиновники, и не будь нас, вас исключали бы другие. Мне лично вас жаль, и если бы это от меня зависело, я выдал бы вам диплом, хоть совсем не проверяя ваших познаний. Но у нас есть обязанность переводить только учившихся, а тех, кто ничего не знает, мы обязаны исключать, под страхом соответствующего наказания за неисполнение своей обязанности. Ну, мы и исключаем вас, но вы не правы жаловаться и осуждать нас и... ничего я сделать не могу. Кажется, ясно?

Директор взглянул на Пашу сквозь очки.

— Ради Бога, Владимир Степанович... — через силу выговорил Паша Туманов, чувствуя, что все валится в какую-то бездну.

Директор с раздражением повернулся к нему.

— Да чего вы от меня хотите? Я не могу... понимаете не могу!

— Что же я буду делать? — машинально спросил Паша Туманов.

Если бы директор сочувственно отнесся к его горю, посоветовал бы ему какой-либо пустяк, Паша Туманов, вероятно, ушел бы домой. Но директор думал, что важнейшая его задача не в том, чтобы делать детей счастливыми, а в том, чтобы исполнять свой служебный долг и переводить только тех учеников, которые в среднем выводе имеют определенное число баллов. И это было вовсе не потому, что он был черствый человек, а потому, что идеал современной учебы не в том, чтобы из детей делать счастливых и добрых людей, а в том, чтобы наделать из них по известной мерке способных к борьбе за лучшее место в обществе

рекрут общегражданской армии; и еще потому, что директор по своему зависимому положению был лишен всякой самостоятельности и обязан был действовать по плану, начертанному людьми, не соприкасающимися близко с детьми и не любящими их; а планы эти были построены только по статистическим цифрам, как бы не имея в виду живых людей.

А так как Паша Туманов ничего этого не понимал и, вопреки словам директора, видел здесь не отвлеченный план, а личности учителей, то в нем сразу проснулась ненависть к директору, возбудившему ее своим официальным, казавшимся Паше злым, тоном.

Паша Туманов вспомнил о револьвере. И когда вспомнил, то все показалось ему еще более ясным и простым, и конец такой, а не иной — неизбежным. Он засунул руку в карман и, глядя возбужденными, сухими глазами и чувствуя что-то холодное и грозное в груди, сказал незаметно для самого себя угрожающим тоном:

— Переведите меня, Владимир Степанович, а то...

Директор странно взглянул на него, побледнел и медленно встал, отстраняясь от него.

— Что... что вы?..

Тут только Паша заметил, что держит револьвер в руке. Он увидел в лице директора выражение дикого испуга, и им овладело вдруг какое-то веселое бешенство; он протянул руку с револьвером и, тупо улыбаясь, стал целиться прямо в очки директора.

— Ах, Боже мой!.. — воскликнул директор, уклоняясь и заслоняясь руками от направленного на него дула; и вдруг изогнувшись всем телом, шмыгнув мимо Паши Туманова и грузно побежал из кабинета, крича каким-то хлипающим голосом:

— Ой-ой-ой... помогите!..

Мучительно-приятное бешенство разлилось от этого крика по всему телу Паши. Он показался сам себе ужасным и огромным и, наслаждаясь этим, побежал за директором, но на пороге, целя в спину, выстрелил раз и другой. Сквозь дым, которого ему показалось ужасно много, он видел, как директор тупо ткнулся всем телом об дверь, взмахнул руками и, как мешок, грузно осел назад головой к ногам Паши. Очки его слетели, и добрые близорукие глаза, искаженные смертью, взглянули мимо Паши в потолок.

Но Паша уже не видел и не слышал ничего. С чем-то похожим на истерику бешенства он выскочил в коридор и побежал наверх, к комнате учителей, держа перед собою револьвер.

Дверь в учительскую была открыта. Там по-прежнему облаками ходил голубой дым и двигались силуэты учителей. Когда Паша Туманов появился в дверях, все сразу обернулись к нему и поняли, что произошло что-то безобразно-ужасное.

Паша видел, как все шарахнулись от него, и вырос в упоении бешенством сам перед собой в гигантскую фигуру. Он отыскал глазами Александровича и выстрелил. Звук выстрела он точно не слышал, а сквозь дым видел только, что учитель не то упал, не то бросился под стол; но, уже не владея своими поступками, он повернулся и, стремительно выскочив вон, побежал вниз, прыгая, как ему казалось, через десяток ступеней сразу.

Пробегая через прихожую, он мельком видел торчащую из открытой двери ногу с странно вытянутым носком и бледное лицо солдата Иваныча, пугливо шарахнувшегося от него в сторону.

Как Паша Туманов вскочил на извозчика и очутился в приемной полицмейстера, он уже не сознавал ясно; опомнился он только тогда, когда секретарь сказал:

— Бедный мальчик.

И только тогда понял он, какое дурное, злое и несправедливое дело он сделал и как он несчастен.

1901

Примечания

1

Отца (лат.)